

В. И. Тюпа

Российский государственный гуманитарный университет, Москва

Кризис социокультурной идентичности в русской литературной классике *

Отправляясь от пушкинской речи Достоевского, в статье рассматривается ряд персонажей «скитальческого» типа русской классической литературы с точки зрения их нарративной идентичности. Использование разработанной Эриком Эриксоном категории идентичности, а также предложенного Полем Рикёром размежевания идентичности на узнаваемую извне тождественность характера и сокровенную «самость» личности позволило выявить в русской литературе XIX в. некоторую магистральную тенденцию. Идентичность центрального персонажа проблематизируется, нередко становясь сюжетообразующим фактором. При этом формируется такая система ценностей, где во главу угла ставится не стабильность и сила характера, а самобытность личности, которая выступает аналогом национальной самобытности, мотивируется национальной идентичностью героя.

Ключевые слова: социокультурная идентичность, нарративная идентичность персонажа, пушкинская речь Достоевского, Онегин, Татьяна, Базаров, Болконский, Чичиков, чеховские герои.

Со всей возможной остротой проблема социокультурной идентичности русского человека была заявлена Ф. М. Достоевским в его знаменитой пушкинской речи (1880).

Напомню: на взгляд Достоевского, Пушкин в фигурах Алеко и особенно Онегина раскрыл характер «исторического русского страдальца», сформировавшийся в «оторванном от народа обществе нашем». Такой человек «в своей земле сам не свой [...] оторванная, носящаяся по воздуху былинка». В противоположность Татьяне, у которой «есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается ее душа», Онегин – душа безопорная. «Надобно же понимать всю суть этого характера»: он – «вечный скиталец», который даже в своем родовом гнезде, «в сердце своей родины, он конечно не у себя, он не дома».

Достоевский небезосновательно видит в таких характерах великую опасность безгладной революционности. Неукорененный в народной почве скиталец легко становится «искателем мировой гармонии», способным безответственно «обогреть свои руки кровью». Предотвращение подобной угрозы Достоевский видит в обретении социокультурной идентичности: «Стать настоящим русским, стать вполне русским». «Русское решение вопроса», по Достоевскому, состоит в следующем: «Смирись, гордый человек [...] найди себя в себе [...] усмиришь

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-78-30029).

Тюпа Валерий Игоревич – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической и исторической поэтики Российского государственного гуманитарного университета (Миусская пл., 6, Москва, 125047, Россия; v.tiupa@gmail.com)

себя – и [...] поймешь, наконец, народ свой и святую правду его» [Достоевский, 1984, с. 139].

Не станем ввязываться в неразрешимый исторический спор между революционностью и смирением, сосредоточимся на исходной проблеме – проблеме субъектной *идентичности*. Многоаспектная психологическая категория идентичности была основательно разработана Эриком Эриксоном [Erikson, 1959; Эриксон, 1996; 2008] и в настоящее время широко распространилась в гуманитарных науках. Обратимся к нарратологическому аспекту данной проблематики.

В нарратологию вопрос об идентичности был привнесен Полем Рикёром. Развивая «идею сосредоточения жизни в форме повествования» [Рикёр, 2008, с. 192], Рикёр разрабатывает категорию *нарративной идентичности* и утверждает, что именно «повествование созидает идентичность» [Там же, с. 180], поскольку «о единстве конкретной жизни» мы способны судить лишь «под знаком повествований, которые учат с помощью рассказа соединять прошлое и будущее» [Там же, с. 197–198].

Пораженный амнезией спрашивает у окружающих: кто я? – поскольку не владеет своим прошлым нарративно. Возвращение «к себе» (очнуться, прийти в себя), восстановление и поддержание самоидентичности реализуется не предъяснением документа, но актуализацией состава моего личного событийного опыта, т. е. мысленным квазирассказыванием многочисленных историй моего пребывания в мире, а в пределе – разворачиванием мегаистории всей моей жизни (автомета-жизнеописанием).

Однако без купюр предел этот принципиально недостижим: слишком велико множество трансформаций, ответвлений и разветвлений изложения целой жизни, в состав которой входят ведь и иные жизни, сопричастные моей, и нереализованные мною возможности. Из этой несводимости проживаемого существования к простому и однозначному его изложению и возникает проблема субъектной идентичности.

Идентичность личного бытия формируется не только изнутри, но также извне: рассказами обо мне других. Опыт этих рассказов частично усваивается человеком как свой собственный, частично отбрасывается: игнорируется или оспаривается. Вслед за Рикёром можно сказать, что нарративная идентичность субъекта представляет собой своего рода напряжение между двумя полюсами: полюсом узнаваемой извне *тождественности характера*, по которой его идентифицируют окружающие, и полюсом сокровенной *самости личности*, сохранностью которой он сам себя идентифицирует.

Характером Рикёр называет «совокупность отличительных признаков, позволяющих повторно идентифицировать человеческого индивида как самоидентифицированного» [Там же, с. 148]. Личность же проявляется как «обнажение самости посредством утраты опоры со стороны тождественности» [Там же, с. 182].

В литературе открытие личности как самости самобытного «я» осуществляют романтики. Кто может поведать «историю души человеческой», которая, как говорится в «Герое нашего времени», «любопытнее [...] истории целого народа»? Для Лермонтова несомненно: «Я – или Бог – или никто!» Это, по слову Рикёра, иная «модальность идентичности» [Там же, с. 181] – самость личностного существования.

Личностная идентичность «я» столь же нарративна по своей природе, как и постоянство «моего» характера. Характер – внешняя сторона личности: нарративная идентичность для других. Личность – внутренняя сторона характера: нарративная идентичность для себя. В большинстве своем такого рода рассказывания (себе о себе самом) не звучат, не записываются, остаются потенциально возможными *имплицитными автонарративами*. В герое имплицитного автонарратива («пра-

вильного», на мой взгляд, рассказа обо мне) я вижу себя со стороны именно таким, каков я кажусь себе изнутри, чем и достигается чаемая самоидентичность.

Утрата субъектной идентичности состоит в рассогласованности гетеронарративной истории присутствия в мире (я-для-других) и автонарративной (я-для-себя). Отсутствие внутренней связи с жизнью других (для Достоевского – с народной жизнью) ведет к аутизму. Последний принято рассматривать как индивидуальную патологию, но, следуя Достоевскому, можно вести речь о феномене социокультурного аутизма некоторой части российского общества.

Обратившись к роману «Евгений Онегин», мы действительно обнаруживаем указанное выше рассогласование. Однако, с нарратологической точки зрения, оно несколько сложнее, чем это выглядит в идеологически пристрастной интерпретации Достоевского.

«Княгиня» заключительной главы и «невинная дева» начальных глав суть два различных персонажа, объединяемых общим именем. Неотождественность их становится ключевым сюжетобразующим фактором всего произведения. «Как твердо в роль свою вошла! [...] Кто б смел искать девчонки нежной / В сей величавой, в сей небрежной / Законодательнице зал?» [Пушкин, 1960, с. 166].

Нельзя сказать при этом, что в начальных главах перед нами вполне была развернута не скрытая характером личностная и национальная самобытность героини, которая «передается безусловно / Любви, как милое дитя» [Там же, с. 64]. Хотя Татьяна и «русская душою», но в формировании ее характера значительную роль сыграли иноязычные романы, которые «ей заменяли всё». Как и множество ее современниц дворянского воспитания, Татьяна «по-русски плохо знала [...] И выражалася с трудом / На языке своем родном» [Там же, с. 65]. Письмо к Онегину – вопреки неумеренному восхищению иронического повествователя – изобилует литературными штампами. Это и не удивительно, поскольку она, «себе присвоя / Чужой восторг, чужую грусть, / В забвеньи шепчет наизусть / Письмо для милого героя» [Там же, с. 58].

В этом отношении герой и героиня вполне подобны. Характер пушкинского Онегина, прежде всего, подражательный, сформированный модными тенденциями столичной жизни. И Татьяна об этом догадывается после своих посещений его кабинета: «Что ж он? Ужели подражанье [...] Чужих причуд истолкованье [...] Уж не пародия ли он?» [Там же, с. 141]. Вся первая глава, как известно, посвящена жизненному укладу, сформировавшему «молодого повесу», «мод воспитанника примерного», который по характеру своему «забав и роскоши дитя». Доминанта этого характера – скука («русская хандра», аналогичная «английскому сплину»), от которой герой нигде не может освободиться.

Таким же Онегин предстает и в начале заключительной главы: в душе «холодный и ленивый», способный «маской щегольнуть» любой, он по-прежнему «ничем заняться не умел». Зато Татьяна преображена неузнаваемо. «Законодательница зал» проживает теперь свою жизнь «без подражательных затей». Но и это не личность, а характерная тождественность в глазах окружающих.

Личность же героини оказывается прежней. Это «простая дева», которая «опять воскресла в ней». Ее самоидентичность питается отнюдь не книжным и не светским опытом – *имплицитным автонарративом*, легко угадываемым за словами нарратора: «Она его не подымает / И, не сводя с него очей, / От жадных уст не отымает / Бесчувственной руки своей... / О чем теперь ее мечтанье?» [Там же, с. 174], – а также за ее собственными словами о «тех местах, где в первый раз, / Онегин, видела я вас» [Там же, с. 176]. Автонарративная идентичность Татьяны – это, как говорил Достоевский, «ее воспоминания детства, воспоминания родины, деревенской глуши, в которой началась ее смиренная, чистая жизнь» [Достоевский, 1984, с. 143].

Но при этом, внутренне оставаясь «прежней Таней», героиня видит и в Онегине лишь прежний характер, не веря в его преобразование.

Между тем для читателя автором открывается личностное измерение Онегина, который теперь тоже, «как дитя влюблен» (влюбленность Татьяны в третьей главе характеризуется теми же словами); который теперь «читал духовными глазами» то самое, что читала и Татьяна (помимо романов): «тайные преданья / Сердечной, темной старины». Очарованность Татьяной пробуждает самобытную личность героя, разрушая внешнюю узнаваемость его подражательного характера, и погружая в автонарративную «тоску безумных сожалений».

Это вполне соответствует мысли Достоевского об *укорененности* личностной идентичности человека в его национальной культуре. Однако публицистически резкое размежевание героя и героини в качестве фигур «отрицательной» и «положительной», как мы видели, не отвечает художественной реальности пушкинского романа.

Личность Татьяны не деградирует, но «обрастает» жестким характером, делающим ее нечувствительной к пробуждению личностного «я» Онегина, претерпевающего лиминальную фазу инициации¹ («Идет, на мертвеца похожий»). Личность Онегина, напротив, в заключительной части впервые дает о себе знать и разрушает скорлупу своего характерного «сплина».

Подавленность же личности со стороны характера раскрывается, например, в ситуации дуэльного вызова: «Он мог бы чувства обнаружить, / А не щетиниться, как зверь» [Достоевский, 1984, с. 143], однако «пружина чести» (забота о своей внешней тождественности для «общественного мнения») не позволяет Онегину разрешить конфликт на личностном уровне.

Знаменательно раздвоение категории «чести» в устах Татьяны. С одной стороны, она говорит Онегину о «соблазнительной чести» любовника светской женщины и героя слухов о ее «позоре», с другой – уповает, как и прежде в письме своем, на его «прямую честь» (личностную самоидентичность перед самим собой).

Всем своим романом Пушкин обнаруживает проблему неопределенной субъектной идентичности людей образованного общественного слоя России и связывает ее с социокультурной идентичностью национальной. В «Объяснительном слове» к публикации своей речи Достоевский пронизательно продолжил ряд персонажей онегинского типа: «Печорины, Чичиковы, Рудины и Лаврецкие, Болконские [...] и множество других» [Достоевский, 1984, с. 143]. Впрочем, с однозначной его оценкой – «отрицательный тип наш» – согласиться трудно.

Данный тип действительно несет в себе социокультурную угрозу *кризиса идентичности* (по терминологии Э. Эриксона). Но одновременно он вызывает повышенный читательский интерес сравнительно с так называемыми «цельными натурами». Это свидетельствует, по-видимому, об особой актуальности кризиса субъектной идентичности в XIX столетии.

В качестве характерного примера углубления онегинской тенденции социокультурной неукорененности рассмотрим фигуру Базарова. Яркость ее, как показал Ю. В. Манн, не столько в открытии Тургеневым нового социального типа, сколько в концептуально значимой «неопределенности» персонажа, вступившего в «полосу кризиса» и несущего в себе «тревожащую тайну» [Манн, 2008, с. 59, 53].

Едва ли не наиболее существенной гранью этой «тайны» оказывается драматическое несоответствие личности героя своему характеру. В отношениях с окружающими он по большей части остается последовательным «нигилистом» – не только мировоззренчески, но и поведенчески: манкируя многими социально-психологическими условностями, высказываясь откровенно, прямолинейно и резко.

¹ Подробнее об этом см.: [Тюпа, 1996; 1997].

Однако в первый же день приезда в усадьбу Одинцовой Базаров начинает утрачивать свою внутреннюю самоидентичность. «“Какой я смиренный стал” – думал он про себя» [Тургенев, 1981, с. 77]. С этой мыслью соседствует другая, привычно «нигилистическая», о престарелой тетке-княжне: «“Для ради важности держат, потому что княжеское отродье”, – подумал Базаров» [Там же, с. 80].

Первый симптом неожиданной смиренности развивается впоследствии в душевную драму. Своего рода увертюрой к этой драме звучит последняя часть сонаты, исполненной Катей, где «посреди пленительной веселости беспечного напева внезапно возникают порывы такой горестной, почти трагической скорби» [Там же, с. 82].

На протяжении XVI и XVII глав романа в душе Базарова нарастает кризисная напряженность между полюсами «я-для-себя» и «я-для-других». У него «стала проявляться небывалая прежде тревога, он легко раздражался, говорил нехотя, глядел сердито и не мог усидеть на месте» [Там же, с. 86]. Уже после первой прогулки с Анной Сергеевной Базаров начинает утрачивать внутреннее самообладание: «Базаров шел сзади ее, самоуверенно и небрежно, как всегда, но выражение его лица, хотя веселое и даже ласковое, не понравилось Аркадию» [Там же, с. 85]. При этом Базаров неожиданно здоровается с ним, хотя они какой-то час назад вместе завтракали.

Что касается Одинцовой, то никакого диссонанса между характером (я-для-других) и личностной самостью (я-для-себя) у нее на всем протяжении романа не наблюдается. Разумеется, она также на некоторое время утрачивает душевное равновесие и несколько даже нарушает заведенный ею строгий распорядок жизни, удерживая Базарова в своей комнате дольше обычного. Однако все, что происходит с Одинцовой в XVII–XIX главах романа, в точности соответствует ее характеру, каким его представляет нам повествователь после слов: «Анна Сергеевна была довольно странное существо» [Там же, с. 83]. Противоречивость ее жизненной позиции и последовательно вытекающего из такой позиции поведения не состоит в разладе между личностью и характером. По воле автора антиномичность известного рода, собственно, и составляет природу ее характера: «она ни перед чем не отступала и никуда не шла»; ум у нее «пытлив и равнодушен в одно и то же время: ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не дорастали до тревоги» [Там же].

Итоговая характеристика вполне исчерпывает сотворенный автором характер: «Как все женщины, которым не удалось полюбить, она хотела чего-то, сама не зная, чего именно. Собственно, ей ничего не хотелось, хотя ей казалось, что ей хочется всего» [Там же, с. 84].

Иное дело – Базаров, терзаемый настоящей внутренней коллизией, поскольку достигнутый кризисом самоидентичности перестает узнавать себя в себе. Надежный (подобно Печорину, например) яркой личностной самобытностью и соответствующим ей самолюбием, он при этом надежно «упакован» в резкую характерность нигилиста. Тогда как характер Печорина не был жестко очерчен, для окружающих он малопонятен, плохо узнаваем в непоследовательности его поступков: слабая оболочка сильной личности. В случае же Базарова равновесие этих сил создает драматическое напряжение, которое, обостряясь, приводит к утрате тождества самому себе, к ослаблению идентичности. Личностное «я» Базарова охвачено мучительным чувством, «от которого он тотчас отказался бы с презрительным хохотом и циническою бранью, если бы кто-нибудь хотя отдаленно намекнул ему на возможность того, что в нем происходило» [Там же, с. 87]. Это не что иное, как разрушение самоидентичности, следствием чего оказывается утрата сильной личностью былого самообладания.

Стремясь сохранить внутреннюю самоидентичность, герой пытается возражать против самой возможности разлада в своей душе. В ответ на слова Один-

цовой: «то, что в вас теперь происходит», – Базаров первоначально отрицает применимость такого выражения к себе («точно я государство какое»), но далее ставит риторический вопрос: «разве человек всегда может громко сказать всё, что в нем “происходит”?» [Тургенев, 1981, с. 97]. На это Анна Сергеевна возражает: «А я не вижу, почему нельзя высказать всё, что имеешь на душе», – демонстрируя свою нечувствительность к коллизиям внутренней раздвоенности. «Спокойствие все-таки лучше всего на свете», – говорит себе она. И повествователь прибавляет: «Ее спокойствие не было потрясено» [Там же, с. 87].

Тогда как Базаров поистине потрясен внутренним кризисом, приводящим его к диффузии идентичности, феномен которой полтора века спустя был описан Э. Эриксоном. «В разговорах с Анной Сергеевной он еще более прежнего высказывал свое равнодушное презрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе» [Там же].

Кризис такого рода вынуждает Базарова пересматривать некоторые аксиомы своего миропонимания. В первый день пребывания в Никольском нигилист утверждал, что «изучать отдельные личности не стоит труда [...] так называемые нравственные качества одни и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат» [Там же, с. 78]. Однако опыт кризиса собственной идентичности приводит его к мысли о самобытности человеческих «я»: «Может быть, вы правы; может быть, точно, всякий человек – загадка» [Там же, с. 91].

«Происходящее» с Базаровым, начиная от переломной XVII главы, можно обобщить актуальными в данном случае словами Поля Рикёра: «обнажение самости посредством утраты опоры со стороны тождественности» [2008, с. 182] (у Печорина такой «опоры» не было изначально). Кризисное состояние подобного рода открывает перед нами, по мысли Рикёра, личность как «идентичность этическую» [Там же, с. 184]. Последняя отнюдь не измеряется нормативно-моралистическими категориями добра и зла. Категория «этической идентичности» предполагает бахтинское понимание личностной жизни как *поступка*.

Феномен Базарова состоит именно в том, что этот неоднозначный герой не просто совершает в жизни ряд поступков, как прочие персонажи, но проживает свою жизнь как поступок, чего лишены другие, и прежде всего Одинцова. Однако поступок этот, придающий яркость нарративной траектории существования, оказывается, как констатирует сам Базаров, «не нужен России».

Кризисное существование Базарова явилось литературным следствием того, что «в “Отцах и детях”, – по мысли Ю. В. Манна, – схвачен самый *момент перелома*» (в российской общественной жизни); при этом «перспектива развития не оборвана, оставлены в силе различные возможности» [Манн, 2008, с. 64, 65]. Индивидуальная идентичность и национальная уподобляются, как это вообще свойственно российской классике.

При этом демонстрируемая Одинцовой стабильность характера явно не может претендовать на значимость позитивной перспективы. В качестве таковой Тургенев указывает на иного рода цельность – личностную, укорененную в природной и тем самым национальной жизни: это цельность смиренной (как пушкинская Татьяна) Кати. В системе персонажей пара сестер создает ценностное напряжение: сохранность идентичности характера (чего добивается Одинцова строжайшей упорядоченностью своей жизни) или сохранность личностной идентичности (позиция Кати)?

Не в судьбе Базарова, но в единстве романного сюжета появление Кати оказывается одним из наиболее значимых событий. Ее появление ознаменовано весьма существенным, как позднее окажется, психологическим жестом: «Катя, которая, не спеша, подбирала цветок к цветку, с недоумением подняла глаза на Базарова» [Тургенев, 1981, с. 79] после его слов об одинаковости людей, как деревьев в лесу. В этом персонаже также очевидно несовпадение характера, сформированного

зависимостью от старшей сестры, и самобытного «я»: «она *спряталась*, ушла в себя. Когда это с ней случалось, она нескоро выходила наружу: самое ее лицо принимало тогда выражение упрямое, почти тупое» [Тургенев, 1981, с. 82]. Однако впоследствии в отношениях с Аркадием вполне раскрывается сила внутренней цельности этой личности – сила, охранившая слабохарактерного Аркадия от «базаровского» кризиса.

Проницательный Базаров называет Катю «чудом», отдавая дань ее глубокой личности, но полагаясь при этом на формирование ее характера: «Из этой еще, что вздумаешь, то и сделаешь» [Там же, с. 83]. И счастливо (для Аркадия) ошибается в этом предвидении.

Сам же Базаров с отъездом из Никольского ожесточенно приступает к восстановлению своей утраченной цельности, следуя собственному «медицинскому» убеждению: «кто злится на свою боль – тот непременно ее победит» [Там же, с. 104]. Для этого пришлось бы подавить «романтизм» личностной самости жесткостью своего «нигилистического» характера. Однако ему это не удается. Кризис идентичности, состоящий в разъединении ее сторон, в «отслаивании» характера от личности, к концу романа трансформируется в медицинский, физический кризис умирающего тела. А душевный разлад героя волею автора сублимируется на духовный, «метафизический» уровень человеческого бытия.

Речь о том, что в последнем разговоре с Одинцовой Базаров именует себя «червяком полураздавленным». Тогда как, уезжая от нее вместе с Аркадием, невзначай назвал себя «богом»: «...мне нужны подобные олухи. Не богам же, в самом деле, горшки обжигать» (при этом Аркадию открылась «вся бездонная пропасть базаровского самолюбия») [Там же, с. 102]. Визит Одинцовой Базаров при этом оценивает как «царский», и возникает достаточно очевидная аллюзия к державинской строке «Я царь – я раб – я червь – я бог» из метафизической оды «Бог». Знаменательная аллюзия усиливается ситуацией соборования: «когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся», но «при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице» [Там же, с. 184].

Нарративный итог личностного существования, проживаемого как поступок, но в кризисном разладе с самим собою, с душевно-духовным ядром личностного бытия, предстает перед нами сугубо негативным. И вполне аналогичным в этом отношении нарративному итогу онегинской траектории существования с ее ослабленной, едва лишь пробуждающейся в заключительной главе личностностью.

Иное дело – жизненный путь Болконского, отнесенного Достоевским к этому же ряду духовных «скитальцев», не укорененных в русской жизни. В существовании данного героя также доминирует сильный характер, обеспечивающий ему полную идентичность в глазах окружающих и скрывающий от них его внутреннюю кризисность. Однако смертельное ранение разрушает не только тело, но и характерную жесткость этого человека. В результате потери сознания очнувшийся герой осуществляет резкий скачок от ролевой самоидентификации к самостной автонарративности:

После перенесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты в его жизни, в особенности самое дальнее детство, когда его раздевали и клали в кроватку, когда няня, убаюкивая, пела над ним, когда, зарывшись головой в подушки, он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни, – представлялись его воображению даже не как прошедшее, а как действительность [Толстой, 1940, с. 263].

Знаменательны не только пробуждающиеся в этот момент «любовь и нежность» к Наташе, «восторженная жалость и любовь» к Анатолию Курагину, которые «наполнили его счастливое сердце». Знаменательно предсмертное обращение гордого человека к Богу, о котором ему говорила, как он вспоминает, сестра его Марья.

Весьма любопытно, что в ряду героев «наполеоновского» типа (напомню строку из «Евгения Онегина»: «Мы все глядим в Наполеоны») Достоевский упоминает и предприимчивого Чичикова, которому столь чужда онегинская скука. Чичиков обладает по-своему цельным, живучим, гибким характером, легко приспособляющимся к окружающим условиям существования. Кризис идентичности с ним случается всего лишь однажды – на губернаторском балу. Но при этом он оказывается ключевым сюжетным событием.

Тщательно готовясь к балу перед зеркалом, где «я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами» [Бахтин, 1996, с. 71], любовно лелея свою внешнюю тождественность для других, Чичиков намеревался окончательно очаровать губернских дам, формирующих общественное мнение. Вместо этого загляделся на юную блондинку с личиком, «какое художник взял бы в образец для мадонны», чем разрушил всеобщую дамскую симпатию к себе. Данное происшествие, столь неожиданное для самого героя и даже для нарратора, обнаруживает наличие и у Чичикова личностной глубины:

Нельзя сказать наверно, точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви, – даже сомнительно, чтобы господа такого рода [...] способны были к любви; но при всем при том здесь было что-то такое странное, что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить: [...] весь бал, со всем своим говором и шумом, стал на несколько минут как будто где-то вдали [...] она только одна белела и выходила прозрачною и светлую из мутной и непрозрачной толпы [Гоголь, 1994, с. 94].

Эту ситуацию легко рассмотреть как пародийную по отношению к ситуации Онегина, залюбовавшегося Татьяной на балу. Однако в контексте романной интриги событие кратковременного кризиса идентичности героя приобретает самое серьезное и решающее значение: разрушает его авантюрную «негоцию» и при этом, обещая преобразование героя в последующих томах, позволяет нарратору заговорить о «русскости» Чичикова и о грядущем историческом величии России.

И все же у классиков русского реализма характер и личность выступают по преимуществу двумя неразъемными сторонами типической индивидуальности. Это составляет основное достижение реалистического художественного мышления на фоне романтического периода, а несхождение между личностной самостью и внешней характеристикой мыслится аномалией, которую Достоевский собственноручно и назвал «отрицательным типом нашим» [Достоевский, 1984, с. 134].

Чехов в зрелых своих рассказах радикально расходится с классической нарративной идентичностью. Разрыв между внешней тождественностью характера и внутренней самостью личности оказывается своего рода нормой для чеховских героев, поскольку кризис идентичности становится жанрообразующим моментом созданного Чеховым жанра (см.: [Тюпа, 2017]). Две жизни Гурова в «Даме с собачкой» – «явная» и «тайная» – тем именно и различаются, что в первой он функционирует в качестве весьма определенного характера, легко идентифицируемого «всеми, кому это нужно было», тогда как во второй существует в качестве самобытного «я» (метонимией которого в тексте служит «сердцебиение»). «Личная тайна» Гурова и составляет основание его идентичности (см.: [Тюпа, 2018, с. 50–89]).

На одном полюсе множества персонажей позднего чеховского творчества – «футлярный» характер Беликова, не только не знающего «личной тайны» в себе,

но и нетерпимого к ней в других; на противоположном – безумие Коврина, чье уединенное сознание углубляется в «личную тайну» настолько, что порывает с действительной жизнью, уходя в свою автонарративную иллюзию. Мера личности чеховского человека есть мера напряжения между внешней («гетеронарративной») и внутренней («автонарративной») сторонами его существования.

В жизни учителя словесности Никитина такого рода напряжение возникает и обостряется, поскольку крепнет его самость («ему казалось, что голова у него громадная и пустая, как амбар, и что в ней бродят новые, какие-то особенные мысли» [Чехов, 1977, с. 310]). Поначалу он не наделен «личной тайной», любовь к младшей Шелестовой составляет его мнимую тайну («Уж пронюхали, подлещи... – подумал Никитин. – И откуда они все знают?») [Там же, с. 312]). Первоначально Никитин самодовольно исповедует тождество внешней данности и внутренней заданности своей жизни: «...на это своё счастье я не смотрю как на нечто такое, что свалилось на меня случайно [...] Я верю в то, что человек есть творец своего счастья, и теперь я беру именно то, что я сам создал» [Там же, с. 317]. Но последующее зарождение «личной тайны» побуждает его к автонарративному пересматриванию своего существования («счастье, рассуждал он, досталось ему даром, понапрасну» [Там же, с. 321] и т. д.). Исподволь завязывающийся имплицитный автонарратив героя вступает в диссонанс с очевидным для окружающих внешним нарративом его жизни («– Так значит, если я ходил к вам в дом, то непременно должен был жениться на тебе? – Конечно» [Там же, с. 329]). В концовке нарративная иллюзия закономерно достигаемого покоя и счастья «иссыкла, и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем» [Там же, с. 332].

В жизни Ионыча, напротив, первоначальное напряжение между характером и самостью слабеет и исчезает. Когда в душе Старцева зарождается томящая его любовь, ему становится внятной и чужая тайна личного бытия: на кладбище он первый раз в жизни видит особенный мир, где «в каждой могиле чувствуется присутствие тайны» [Там же, с. 25]. Когда же огонек «личной тайны» в нем угасает, оставляя после себя пепел одинокого накопительства, то и в жизни других эту тайну герой перестает предполагать и уважать: в чужой дом, назначаемый к торгам, он входит «без церемонии», «не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой» [Там же, с. 30]. Полная овнешненность, исчерпанность персонажа инерцией карикатурно застывающего характера подчеркнута фразой повествователя, завершающего разговор о герое прежде, чем закончить рассказ, названный его именем: «Вот и все, что можно сказать про него» [Там же, с. 41].

Оленька Племянникова («Душечка»), обладая вполне определенным характером, в то же время являет собой яркий образчик дефицита личности. Кризисы идентичности случаются с нею после каждой утраты очередного объекта ее привязанности. При этом внутренняя бесследность, с какою одно увлечение Оленьки сменяется другим, свидетельствует об отсутствии у нее «памяти сердца», как выражалась современная писателю критика, и – вследствие этого – об отсутствии собственного «я» (автонарративной самости). Если звуки музыки и треск ракет, доносившиеся из сада «Тиволи», казались супруге Кукина отголосками его «борьбы со своей судьбой», то у овдовевшей героини «это уже не вызывало никаких мыслей» и т. п. В ее душе, когда она оказывается предоставленной самой себе, не отыскивается следов прежнего, якобы «настоящего, глубокого чувства»: теперь «и среди мыслей, и в сердце у нее была такая же пустота, как на дворе» [Там же, с. 110]. Внутренняя жизнь Душечки оказывается анарративным воспроизведением актуальной жизненной ситуации: «Глядела она безучастно на свой пустой двор, [...] а потом, когда наступала ночь, шла спать и видела во сне свой пустой двор» [Там же]. Однако при сближении с чужой индивидуальностью

героиня немедленно начинала ей внутренне подражать, якобы обретая себя (автонарративная иллюзия).

История «Невесты» (диаметрально противоположная истории «Душечки») порождается душевным кризисом, взрывающим инерцию существования, о которой говорит ее мать: «Давно ли ты была ребенком, девочкой, а теперь уже невеста [...] И не заметишь, как сама станешь матерью и старухой» [Чехов, 1977, с. 203]. Надя же, утрачивая самоидентичность, восклицает: «Как я могла жить здесь раньше, не понимаю, не постигаю! Жениха я презираю, себя презираю, презираю всю эту праздную, бессмысленную жизнь» [Там же, с. 208]. Траектория ее незавершенного жизненного путешествия – динамика последовательного освобождения самобытности от внутренних зависимостей, от оглядки на «других», чьи воззрения на нее формировали внешнюю узнаваемость, характерность героини.

Кризисный раскол между «моя жизнь» (нарративное образование) и автонарративным «я» приводит, например, Веру Кардину («В родном углу») к тому, что внешнее ее поведение выходит из-под контроля ее личности, становясь в стычке с безответной Анной «характерным», наследственным поведением помещицы, а не изящной и образованной барышни, каковой героиня мыслит себя изнутри. Для воссоединения распавшегося единства героине необходимо уединение, «чтобы никого не видеть и ее бы не видели». Только избавление от гетеронарративного взгляда со стороны, от оглядки на свое окружение дает личности независимость от ее социально-психологической характерности. Однако внутренняя суверенность героини – состояние преходящее и весьма относительное, поскольку внешнее, нарративизированное инобытие «я» – это то, чего «нельзя забыть и простить себе в течение всей жизни» [Там же, с. 320].

Экзистенциальная значимость автонарратива в качестве основания личностного бытия актуализирована в «Архиерее», где параллельно сообщаемой нарратором событийной истории последних дней жизни героя разворачивается его автонаррация. Нарратор акцентирует невербальную природу автонарративности, актуализируемой одновременно со словами молитвы: «Он внимательно читал эти старые, давно знакомые молитвы и в то же время думал о своей матери [...] молитвы мешались с воспоминаниями, которые разгорались всё ярче, как пламя, и молитвы не мешали думать о матери» [Там же, с. 187].

После молитвы «представились ему его покойный отец, мать, родное село Лесополье... Скрип колес, бляенье овец, церковный звон в ясные, летние утра, цыгане под окном, – о, как сладко думать об этом!» [Там же, с. 188]. На другой день преосвященному «медленно, вяло вспоминалась семинария, академия». Далее вспомнилась «белая церковь, совершенно новая, в которой он служил, живя за границей; вспомнился шум теплого моря» [Там же]. Так на протяжении рассказа перед нами фрагментарно-эпизодически (а иначе наррация и не может разворачиваться) промелькивает целая жизнь героя – его личностный автонарратив. Впрочем, мы его не слышим и не могли бы услышать, поскольку это феномен недискурсивной внутренней речи («ему представилось»), о котором нарратор сообщает нам в композиционной форме интроспективного повествования.

В дочеховской литературе нарратор обычно рассказывал читателю биографию героя ради того, чтобы мотивировать и объяснить его характер. Автонарратив преосвященного Петра ровным счетом ничего не объясняет. Он лишь свидетельствует о личности героя, о наличии у него собственной, внутренней, уникальной истории, продолжением которой является его актуальное существование: хотя «всё прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось», однако его «и в настоящем волнует всё та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей» [Там же, с. 190].

Более того, личность героя благодаря присутствию матери и племянницы, актуализирующим его автонарративную память, оказывается живым продолжением

духовно-национальной истории: «Отец его был дьякон, дед – священник, прадед – дьякон, и весь род его, быть может, со времен принятия на Руси христианства, принадлежал к духовенству, и любовь его к церковным службам, духовенству, к звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой» [Чехов, 1977, с. 199]. Можно вспомнить, что еще Онегину в его новом, личном состоянии становятся вняты импульсы «Сердечной, темной старины».

В автонарративной идентичности и состоит принципиальное отличие личного персонажа от персонажа «характерного» – Сисоя, которому «самому было непонятно, почему он монах, да и не думал он об этом, и уже давно стерлось в памяти время, когда его постригли; похоже было, как будто он прямо родился монахом» [Там же, с. 187]. Такой персонаж сводится к своей социальной роли и потому не обладает автонарративом. Все его прошлое исчерпывается фразой, удостоверяющей его функциональную идентичность: «Сисой был когда-то экономом у епархиального архиерея, а теперь его зовут “бывший отец эконом”» [Там же].

В отличие от нарративной идентичности закрытого, неизменного, как в литературе классицизма, исчерпавшего свое становление, характера нарративная идентичность самости остается потенциально открытой в будущее, динамичной: «Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но всё же не всё было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и всё еще казалось, что нет у него чего-то самого важного» [Там же, с. 200]. Это самоощущение живого «я», не омертвевшего (как у Сисоя), но по-детски готового к новизне жизни (в тексте неоднократно отмечается внутренняя близость преосвященного и девочки Кати). Нарративная логика «Архиерея» такова, что именно внутренняя идентичность самости, не извращенная социальной характерностью, обещает торжество над смертью, провозглашенное и явленное Христом.

Подводя итоги, можно отметить некоторую магистральную тенденцию, проиллюстрированную здесь лишь на немногих примерах.

В русской литературе XIX в. нарративная идентичность персонажа проблематизируется, нередко становясь сюжетообразующим фактором. При этом формируется такая система ценностей, где во главу угла ставится не стабильность и сила характера², а самобытность личности, которая выступает аналогом национальной самобытности, мотивируется национальной (отчасти религиозной) идентичностью героя.

Список литературы

- Бахтин М. М.* Собр. соч.: В 7 т. М., 1996. Т. 5.
Гоголь Н. В. Мертвые души // Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М.: Русская книга, 1994. Т. 5.
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 129–149.
Мани Ю. В. Тургенев и другие. М.: РГГУ, 2008.
Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1960. Т. 4.
Рикёр П. Я-сам как другой / Пер. с фр. М., 2008.
Толстой Л. Н. Война и мир // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.: Худож. лит., 1940. Т. 11.
Тургенев И. С. Отцы и дети // Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1981. Т. 7.

² Среди немногочисленных исключений обращает на себя внимание Рахметов Чернышевского. Однако роман «Что делать» ошибочно было бы относить к русской классике.

Тюпа В. И. Фазы мирового археосюжета как историческое ядро словаря мотивов // От сюжета к мотиву. Новосибирск, 1996.

Тюпа В. И. Парадигмальный археосюжет в текстах Пушкина // *Ars interpretandi*. Новосибирск, 1997.

Тюпа В. И. Кризис как инвариантный конструктивный фактор жанра рассказа // Кризисные ситуации и жанровые стратегии. М., 2017. С. 56–62.

Тюпа В. И. Художественность чеховского рассказа. 2-е изд., перераб. М., 2018.

Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М., 1977. Т. 10.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Пер. с англ. М., 1996.

Эриксон Э. Трагедия личности / Пер. с англ. М., 2008.

Erikson E. H. *Identity and the Life Cycle*. New York, 1959.

V. I. Tyupa

Russian State University for Humanities
Moscow, Russian Federation, v.tiupa@gmail.com

Crisis of sociocultural identity in the classical Russian literature

The paper considers several “wanderer” type characters of Russian classical literature in terms of their narrative identity, starting from Pushkin’s speech by Dostoevsky. Using the category of subjective identity developed by Eric Erickson, as well as the identity separation on the outside recognizable identity of the character and the inner “self” of the person proposed by Paul Rikkyer, allowed revealing one of the main trends in the Russian literature of the 19th century. The identity of the central character is problematized, with the internal splitting, non-identity to oneself becoming a plot-forming factor. In particular, Onegin, Bazarov, some of Chekhov’s heroes are shown as personalities in a crisis state suffering from “sociocultural autism.” Also, Chichikov and Andrei Bolkonsky, mentioned by Dostoevsky among the “baseless” heroes, are considered from this perspective. At the same time, in line with Dostoevsky’s interpretation of the image of Tatiana Larina, the author reveals the manifestations of inner integrity, motivated by the personality being rooted in the national culture. Not only Pushkin’s woman character is examined but also the figures of Kate (“Fathers and children”) and Peter (“The Bishop”). However, the extra-crisis integrity of Odintsova by Turgenev or Olenka Plemyannikova by Chekhov is artistically discredited. In later works, the crisis split between character and personality becomes the key innovative factor in Chekhov’s narrative. At the same time, the Russian classic creates such a system of values where it is not stability and strength of character that is of central concern, but the identity of a person – an analogue of national identity, motivated by the national identity of the character.

Keywords: sociocultural identity, narrative identity of the character, Dostoevsky’s Pushkin Speech, Onegin, Tatyana, Bazarov, Bolkonsky, Chichikov, Chekhov’s characters.

DOI 10.17223/18137083/69/6

References

Bakhtin M. M. *Sobr. soch.: V 7 t. T. 5* [Collected works: In 7 vols. Vol. 5]. Moscow, 1996.

Chekhov A. P. *Poln. sobr. soch. i pisem: V 30 t. T. 10* [Complete collection of compositions and letters: in 30 vols. Vol. 10]. Moscow, 1977.

Dostoyevskiy F. M. *Poln. sobr. soch.: V 30 t. T. 26* [Complete coll. of works: In 30 vols. Vol. 26]. Leningrad, 1984, pp. 129–149.

Erikson E. *Identichnost’: yunost’ i krizis* [Identity: Youth and Crisis]. Transl. from Engl. Moscow, 1996.

Erikson E. H. *Identity and the Life Cycle*. New York, 1959.

Erikson E. *Tragediya lichnosti* [Tragedy of personality]. Transl. from Engl. Moscow, 2008.

Gogol’ N. V. *Mertvyye dushi* [Dead Souls]. In: Gogol’ N. V. *Sobr. soch.: V 9 t. T. 5* [Collected works: In 9 vols. Vol. 5]. Moscow, Russkaya kniga, 1994.

Mann Yu. V. *Turgenev i drugiyе* [Turgenev and others]. Moscow, RSHU, 2008.

- Pushkin A. S. Evgeniy Onegin [Eugene Onegin]. In: Pushkin A. S. *Sobr. soch.: V 10 t. T. 4* [Collected works: In 10 vols. Vol. 4]. Moscow, 1960.
- Rikër P. *Ya-sam kak drugoy* [Oneself as another]. Transl. from French. Moscow, 2008.
- Tolstoy L. N. Voyna i mir [War and peace]. In: Tolstoy L. N. *Poln. sobr. soch.: V 90 t. T. 11* [Complete coll. of works: In 90 vols. Vol. 11]. Moscow, Khudozh. lit., 1940.
- Turgenev I. S. Ottsy i deti [Fathers and children]. In: Turgenev I. S. *Poln. sobr. soch. i pisem: V 30 t. T. 7* [Complete coll. of works and letters: In 30 vols. Vol. 7]. Moscow, Nauka, 1981.
- Tyupa V. I. Fazy mirovogo arkheosyuzheta kak istoricheskoye yadro slovarya motivov [Phases of the archeoplot as the historical core of the dictionary of motifs]. In: *Ot syuzheta k motivu* [From the plot to motive]. Novosibirsk, 1996.
- Tyupa V. I. Paradigmal'nyy arkheosyuzhet v tekstakh Pushkina [Paradigmatic archeoplot in Pushkin's texts]. In: *Ars interpretandi*. Novosibirsk, 1997.
- Tyupa V. I. Krizis kak invariantnyy konstruktivnyy faktor zhanra rasskaza [Crisis as an invariant constructive factor of the genre of short story]. In: *Krizisnyye situatsii i zhanrovyye strategii* [Crisis situations and genre strategies]. Moscow, 2017, pp. 56–62.
- Tyupa V. I. *Khudozhestvennost' chekhovskogo rasskaza* [Artistic features of Chekhov's Story]. 2nd ed., rev. Moscow, 2018.